

Так что же им делать? Что всем им делать теперь? Что делать после произошедшего?

Голова шла кругом... Хотелось, но не получалось сосредоточиться, вернуться к некой исходной точке: сегодня столько пришлось передумать, столько пережить, что первоначальный импульс, побудивший каждого из них прийти в общежитие, уже забылся. Потребовалось время, потребовались усилия, чтобы вспомнить, как и для чего они оказались здесь.

Один только Рогов не потерял из виду конечную цель своих действий. Спору нет, гибкостью ума упрямый революционер не отличался, зато сбить его с однажды выбранного пути было трудновато. Остальные, выслушав Машину отповедь, растерялись, размякли, расслабились, но Рогов неуклонно гнул свою линию: «А как же теперь быть с ребенком? А как наши предложения о замужестве?»

Эти правильные по сути, однако казавшиеся сейчас нетактичными, даже пошлыми вопросы будто бы отбросили всех на час назад, в ту безвозвратно ушедшую эпоху, когда они еще ничего не знали друг о друге, да и о себе знали не так уж много. Рогов со своей туповатой прямолинейностью словно резко дернул за невидимый поводок, как иногда собаковод, выгуливающий щенка, раздраженно окорачивает разрезившегося питомца. Грубый попятный рывок, сдавивший горло ошейником реальности, оказался чрезвычайно болезненным, чрезвычайно обидным и вызвал всеобщее озлобление. Кто-то с недовольным видом отвернулся к окну. Кто-то с досады махнул рукой: «Ну вот, ничего не понял!» Кто-то брюзгливо поморщился: «Зачем он так?! Ведь все было сказано!»

Рогов же, ясно видевший, что возбуждает возмущение окружающих (не понимая, кстати, чем), отступать не собирался. Он был свято убежден в своей правоте, а потому во что бы то ни стало собирался довести начатое дело до конца. Не разобравшись в причинах внезапной агрессии собеседников, Рогов ярился загнанным зверем и от

безысходности ринулся напролом сквозь бурелом этики и здравого смысла — предложил в духе нашего демократического времени решить дальнейшую судьбу матери и дитя голосованием, поставив на него два вопроса. Первый: остались ли желающие усыновить ребенка товарища Володиной. Второй: кто из оставшихся кандидатов в отцы и мужья, по мнению собравшихся, более достоин воспитывать данного ребенка.

Это анекдотическое предложение, нелепое даже на фоне праздновавшегося сегодня безоговорочного триумфа нелепости, столь наглядно подчеркнуло абсурд всего происходящего, что разрядило обстановку сдержанным, но искренним смехом. Тихонько, почти беззвучно смеялись мужчины, беззлобно уже смеялись, в ехидных складках вокруг глаз пряча снисходительность к неугомонному правдоискателю. И лишь Марии не было смешно. Марию Роговский почин жестоко оскорбил, ибо означал одно: ее, ту, чьим речам вот только что внимали, словно голосу свыше, перестали воспринимать всерьез, будто она превратилась вдруг в пассивный и послушный манекен. Ее мнение, если и учитывалось, то наравне с мнениями опостылевших гостей, которых давно пора гнать вшаей!.. Так не пойдет!

В целом же, если не брать в расчет данный конкретный случай, огульные насмешки над самой идеей голосования как таковой — проявление заносчивой ограниченности. Голосование, может быть, самый правильный путь и есть. Этот способ разрешать затруднительные вопросы годился нашим предкам, послужит и нам. В нем содержится какая-то домотканая добротность, старомодная надежность, несуетная вдумчивость: простым подсчетом голосов выяснить, к чему стремится большинство. Да, этот способ справедливо называют чисто механическим, не учитывающим важные нюансы, но в нем есть нечасто встречающаяся в нашей жизни ответственность за поступок. Когда на тебя нацелены взгляды, пусть даже чужих, вроде бы безразличных тебе людей, поднять руку, наглядно обозначая, «за» что ты или «против» чего, оказывается, не так уж легко.

Под дотошными взорами воздевая руку в собрании равных, ты ощущаешь за спиной взволнованное дыхание Агоры и Новгородского веча, обретаешь обнадеживающую рассудительность. А уж вселившаяся в тебя вместе с дыханием древности степенная благоразумность подсказывает, как поступить дальше: пусть каждый выскажется свободно, но учтиво, пусть изложит свои доводы, не помышляя о своекорыстных ухищрениях, и пусть будет выслушан с уважительным вниманием. Возможно, кто-то, непредвзято внимая суждению прекословщика, уверится в его правоте, искренне раскается в собственных заблуждениях и откажется от прежних замыслов, через вотирование передав другому, более убедительному, свое право распорядиться будущим?

Но нет, не нашлось столь серьезных людей среди сброда, митинговавшего в чetyреста первой комнате. Здесь после произошедшего решительного объяснения любое благоразумное пожелание вызвало бы лишь нервический смех — вот и предложение решить дело голосованием встретили кривыми ухмылками. Стало быть, самое время разойтись... Раз не научились побеждать в дебатах, раз в долгом споре не помогли родиться истине, раз, погнавшись за частной правотой, не смогли обрести согласия, раз боятся баллотироваться на должность мужа и отца — ничего другого не остается: пора идти восвояси.

...Гулкие до враждебности коридоры и лестницы казенного дома ждали за порогом. Безладный шум внезапно возникшего движения пробудил здесь дисгармонию пространства. От каждого шага с пыльных стен обезлюдевшего, притихшего здания взвивались пугающие мутные картины: не то конвой сопровождает смертника в расстрельный подвал, не то отряд горноспасателей спускается в аварийную шахту...

Отваженные женихи понуро плелись к выходу, храня постылое молчание, которое нельзя больше длить ни секунды, но и нарушить не представляется возможным. Шагать вот так (всем вместе, но вразнобой), нисходить друг за другом по неудобным, сбивающим с ритма ступеням оказалось настолько неприятно, что подступала дурно-

та. Тяжело было на сердце, тошно было на душе. Душе было тошно. Или, может, тошнило от переизбытка души? Для их заскорузлых душ соприкосновение с эфирной душой таинственной невесты оказалось отравой. Женихи опьянели от вольных махов Машиных крыльев, дерзновенно уносивших сквозь облака условностей яви к слепящему солнцу смысла, и теперь в хмельном угаре тщетно пытались соотнести свою расчетливую хитрость с открытой для всех и никому не покоряющейся щедростью.

Впрочем, они за благо почли бы, если бы их, надорвавшихся на каторжных работах постижения новых истин, всего лишь мутило от перенапряжения. Кроме подкатывавших к горлу позывов откровенности, кроме головокружения, усугубленного затягивающим вращением в стоке лестничных пролетов, беспокоил и другой, не столь сильный, но все-таки ощутимый симптом: побаливала уязвленная гордость отвергнутого мужчины.

Полученный отказ должен был бы показаться Саше обиднее, чем другим, ведь юноша (единственный из всех!) предлагал Марии руку и сердце безоглядно и бескорыстно. Пусть прозвучало его предложение в убогих декорациях комедии абсурда, на фоне которых прелесть старомодного прямодушия блекла, представала скучноватой приземленностью. Пусть! Саша, обуреваемый романтическим восторгом, искренне готов был подарить возлюбленной себя всего, всю свою молодую, полную надежд и энергии жизнь. Он размашисто бросил бы к ногам избранницы и искусство, и будущее, притом сделал бы это без рассуждений, без условий, без тайных умыслов... Пренебрежения такими подарками не прощают! И художник вряд ли смирился бы с отвлеченными умствованиями в ответ на ропот клокочущей страсти, кабы под занавес драмы не захватило его влечение более жгучее, чем любовь: творческое возрождение.

Иммануил же считал, что его следовало пожалеть раньше остальных... Другие выйдут за порог и сольются с толпой, неприметными мышками быстренько добегут до своих затхлых норок, юркнув туда да примутся привычно точить зубы о сухарь обиды. И тем утешатся. А Иммануилу утешения не найти. Некуда ему спрятаться: в дурацком колпаке, в грязно-белом балахоне он всем заметен, во всякой толпе отличен и чужероден. Любой может ткнуть пальцем, заглянуть в лицо, выведать тайную печаль. В иное время Иммануил ловко подцеплял в толпе любопытного прохожего (на праздное любопытство у него и был весь расчет), выволакивал простофилю, словно рака из-под камня, из-под гнета повседневных забот и выбрасывал на бережок. Рачишка падал в копошащуюся кучу подобных же беспомощных усачей, и тут такое начиналось, что у несчастного глаза невольно лезли из орбит. Новообращенные членистоногие сами не замечали, как оказывались в бурлящем котелке «братства», и сколь ни пятились задом — спасения уже не находили. С чуть брезгливым равнодушием профессионала Иммануил ссыпал их в крутой кипяток и с интересом наблюдал, как варятся раки, как безвольно никнут в бьющей ключом воде, как постепенно меняют цвет. Затем похотливый чревоугодник, пуская слюну, ждал, чтобы готовое блюдо остыло, и принимался хищно взламывать хитиновую броню, отрывать клешни, лакомиться нежной плотью... Когда наступало пресыщение, а красно-бурый панцирь был тщательно обсосан со всех сторон, Иммануил зашвыривал подальше ненужную скорлупу и, малость отдохнув, дав завязаться жирку, отправлялся за новой добычей... Да, в иное время вся эта кухня пыхтела безостановочно, но сегодня, после странных и смущающих происшествий нынешнего дня, гурману-вероучителю духу не достало бы прихватить какого-нибудь ротозея фирменной фразой: «Хочешь спастись?»

Изобретенный им же самим наряд — запыленные и в двух местах прожженные окурками одежды фальшивого праведника — вдруг опротивел Иммануилу до содрогания. На ходу, не прерывая общего движения вниз по общежитской лестнице, не нарушая негласно принесенного изгнанными женихами обета молчания, усталый проповедник стянул через голову осточертевший балахон, свернул измятые простыни в тючок, который раздраженно сунул под мышку. Разоблачившись, Иммануил предстал

перед собратями по несчастью мосластым да ледащим нескладехой в растянутой футболке и потертых джинсах. В таком виде развенчанный пророк и вышел из общежития — чудаковатый пьянчуга да и только. В таком виде и затерялся среди сограждан...

А Шамсутдинову казалось, что как раз ему, Равилю Хуснуловичу, в сложившейся ситуации тяжелее, чем остальным. Безусловно, отказ Марии столь уважаемому человеку даже в личном плане был крайне неприятен, но это еще как-то можно пережить; в ипостаси же неоцененного мыслителя-футуролога он не мог справиться с половодной рекой горькой обиды, неостановимо хлеставшей из сердца, затопляя прочие чувства. Мария и ее будущий ребенок уже казались Шамсутдинову набепо вписанными в реестр подготовительных работ по строительству гармоничного государства, которое хотелось оставить в подарок человечеству, — но вот теперь все планы смешались. Полный провал! Впрочем, в этом Шамсутдинов винил и себя: в очередной раз не сумел преодолеть надменность при общении с простыми людьми (с течением лет высокомерие по отношению к согражданам, не обличенным властью, проявлялось у него все чаще и ярче); не смог использовать свой авторитет для убедительного утверждения истины... Шамсутдинов даже готов был согласиться, что его проект политического устройства не был досконально продуман, возможно, несколько отдавал утопизмом, содержал солидную долю наивности. Весьма возможно. Но наивность — не повод для того, чтобы без должного анализа отвергать начинание, показавшееся кому-то нежизненным. Надо бы сначала разобраться в деталях, попытаться воплотить идею в жизнь, хотя бы частично, на уровне модели, выводы же делать потом. Именно так поступали на Шамсутдиновской фабрике — создавали рабочие группы, экспериментальные участки... Однако в четыреста первой комнате не оказалось не то чтобы единомышленника, смелого экспериментатора, а даже вдумчивого слушателя... Бригантина лучезарного державного восторга с ходу напоролась на коварные рифы действительности и разбилась вдребезги. Теперь все государственные мечтания Шамсутдинова тяжким грузом навалились на его плечи, навалились немилосердно, словно злорадствуя над поверженным теоретиком, и вот давят, вот гнут к земле, а скоро, видать, совсем в землю вгонят.

Чернышев... Тот, пожалуй, был единственным из неудачливых женихов, кто, спускаясь по гулкой казенной лестнице, не полагал, что нисходит в преисподнюю одинокого дальнейшего существования. Каких-то серьезных переживаний не было. Прогнали? Унизили? Опозорили? Да ерунда! Все это уже неоднократно случалось с ним в жизни... Бывали и похуже переплеты! Чернышев знал по опыту, что не следует заикливаться на неудаче. Не получилось начать новую жизнь? Не беда. Купим еще новой! Пронырливый ум оборотистого дельца уже строил планы возможного возвращения в общежитие (только одному, конечно, без лохманеющих конкурентов), подыскивал основные темы бесед с Марией и ее отцом на предмет продолжения знакомства, прикидывал сметы предполагаемых расходов на сближение и ухаживание.

Практичный Чернышев смог быстрее и вернее других оценить Марию, понять, сколь редкая птица села для них сегодня свою песенку... Да не из Красной книги птичка — из книги добрых старых сказок. Сейчас, топая вразвалочку по холодным бетонным ступеням, Чернышев с беспощадной ясностью осознавал, что уходит от той, которая могла бы стать хозяйкой его судьбы. Никогда больше подобная женщина ему не встретится, не полюбит его, даже не поговорит с ним так откровенно, как сегодня Мария. И уж конечно, не найти ему такой среди торгашек, с которыми предстоит якшаться до скончания дней. Но... Большое «НО» сидело в мозгу. А будет ли Чернышев счастлив с Марией? Долго ли сможет уживаться со стропливой диковинкой? Не накладно ли пускать Марию в свою биографию? Слишком многое придется изменить и в жизни, и в отношении к жизни... Тут надо выбирать: привычное комфортное существование или женщина. Мария не потерпела бы иного, а Чернышев не хотел меняться. И потому он не особенно переживал.

Зато шагавший замыкающим Рогов испытывал и боль, и тревогу, и растерянность. В голове, словно у находящегося в нокауте боксера, вспышками пульсировали безответные вопросы: в чем он ошибся? с какой стороны пропустил сокрушительный удар судьбы? Доколе его будут преследовать неудачи? Чем он не приглянулся Марии?.. Нет, Рогов вполне допускал, что сам по себе, в качестве представителя сильного пола, мог не понравиться или даже вызвать неприязнь, поскольку на статую Давида походил не больше, чем американский герб на голубя мира. Это Рогов четко понимал, однако ему было глубоко плевать, соответствует ли он сомнительным определениям таких туманных понятий как мужская привлекательность и стать. Ведь не внешние данные определяют выбор спутника жизни, но общность интересов и взглядов. А взгляды Рогова не могут не вызывать симпатии. Разве ради притягательности благородных убеждений не следует смириться с невзрачностью человека, до самозабвения служащего тем убеждениям? Разве совершенство идеи не ложится одухотворяющим отблеском на заурядное обличье своего защитника? Разве не отражается в физиономии Рогова красота лиц всех революционеров?

Думая о героях революции и гражданской войны, Рогов неизменно представлял их мужественно-красивыми, такими, какими показаны они в фильмах, какими нарисованы на плакатах, на поздравительных открытках к очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Рогов понимал, конечно, что в реальности среди большевиков не могли все быть писаными красавцами, но причастность к грандиозным свершениям полностью преображала борцов за народное дело. Даже фамилии их начинали звенеть завораживающей музыкой: Лацис, Кун, Лазо... Коллонтай... Инесса Арманд, Виталий Бонивур... Феликс Эдмундович Дзержинский!.. Произносить-то одно удовольствие! Как будто пароль называешь. Как будто шепчешь заклятие, вызывающее дух аристократичной доблести. Люди со столь необычными именами, несомненно, устремлены к чему-то возвышенному, яркому. Как же им не поверить? Обязательно надо поверить. Так, наверное, происходило в Средние века, когда в сонные феоды и города являлись рыцари с гордыми, громкими титулами и увлекали закисавшую людскую массу в великие походы, на славные битвы, к истокам империй. Вот как варяги на Руси, например. Среди боек да володек появляется вдруг Рюрик, Ингвар Ингваревич... Звучит! За таким именем можно и на смерть пойти. А в начале двадцатого века заезжие красавцы, Бонч-Бруевичи, Кржижановские, Рудзутаки, умницы, светлые головы, повели наш народ к счастливому будущему. И вот привели, и вот общее выше частного. И вот все как один. Большинство принимает решения. Большинство всегда право...

Стоп! Тогда получается, что полчаса назад, издеваясь над Роговым, высмеивая его призывы продолжать революцию (в индивидуальном порядке, но дисциплинированно и с неослабевающим энтузиазмом), большинство было право? С этим Рогов не мог согласиться... Или, допустим, большая часть граждан СССР решит отказаться от завоеваний социализма (к сожалению, на текущий исторический момент оппортунистическая опасность налицо). Опять большинство окажется правым? Ну уж нет!.. Выходит, не всегда голосованием утверждают правоту! Подчас несознательная масса проваливается в мелкобуржуазное болото, и, чтобы не допустить подобного провала, за настроениями большинства необходимо бдительно следить, управлять необходимо большинством. Вот для чего нужна партия, вот почему она есть руководящая и направляющая сила нашего общества! Только куда партия сегодня направляет общество? К самоликвидации? Нонсенс! Либо предательство... Предательство, гнуснее которого и представить нельзя!

Только вообразив подобное, Рогов содрогнулся, будто его молния поразила. И хотя жгучие стрелы сомнений уже не единожды терзали его ранее, на сей раз мысль об измене прошла тело столь болезненным разрядом, что в груди защемило. Рогов даже был вынужден приостановиться на предпоследней лестничной площадке, чтобы

несколько прийти в себя. Сердце заходило в аритмии, голова кружилась, словно он не с четвертого этажа спускался, а из подоблачной выси кувыркнулся, как горьковский Сокол, в гнилое ужиное ущелье.

Капризный мозг, похоже, принявший решение снова вырубиться напрочь, как давеча в комнате, завозился в черепной коробке, стараясь поплотнее закутаться в ватное одеяло обморока, укрыться под ним от утомившей реальности. Рогов едва успел ухватить за краешек ускользящее лоскутное покрывало бреда, резко сорвал цветистую верюгу с серого вещества, успевшего укутаться, уютно угнездиться перед окончательной отключкой, безвольно расслабить все свои извилины. Несгибаемый большевик, только представив себе, что повторно лишится чувств на глазах вновь обретенных товарищей, нехорошо, натужно побаврогвел и громогласно рывкнул в пустоту своего внутреннего двора-колодца: «Не спать!» Впавшее было в унылую квелость сознание встрепенулось, вскочило зябко поддрагивающим бодрячком: «Я не сплю! Не сплю: смотри!» И вот пошло ворочать гири размышлений, и вот уже в качестве утренней зарядки выжимает стопудовый афоризм, показавшийся чеканной формулой на все времена, не хуже максим основоположника социалистического реализма: «Самое страшное предательство совершают не отступники, а вожди, не ведающие, куда ведут».

Кто другой, глядишь, возгордился бы, явив миру столь роскошную сентенцию. Возможно, всю оставшуюся жизнь каждый разговор сводил бы к одному финалу: «Я вот тут подумал... Самое страшное предательство совершают не отступники...» Другой, небось, в любое письмо вворачивал бы: «В конце концов, самое страшное предательство совершают...» Другой, может, на надгробном памятнике завещал бы выбить: «Самое страшное предательство...» Другой, но не Рогов. Тот с радостью отказался бы и от прижизненной славы, и от посмертного признания, лишь бы на сто процентов увериться в своей ошибке относительно сути, лишь бы знать наверняка, что измена никоим образом не проникнет в высшие эшелоны власти, в самое ядро советской системы. Однако, похоже, ошибки не было: ничем иным, кроме ренегатства, Рогов не мог объяснить проводимую руководством линию.

Жгучая желчь сушила рот шершавой промокашкой. Рогов облизал моментально пересохшие губы, огляделся дурным глазом, как осматривается внезапно очнувшийся от тревожного забытья человек, ощущающий, что во время сна у него стащили нечто ценное. Сейчас Рогову до отвращения чужим казалось все вокруг: и обшарпанные стены казенного дома, и шумливая улица за стенами, и родной город, и вся страна... Словно бы миг состарившийся, он почти равнодушно констатировал: ничего своего, ничего дорогого не осталось: ни державы, ни революции... Опавшими листьями шуршали под ногами бесполезные отныне лозунги «Даешь!» и «Революция продолжается!»... Сквозь безжалостный осенний свет между обнаженными стволами семидесяти советских лет вспыхнула горькой правдой кровавая рябина: кончилась революция.

Она не сегодня кончилась, не сию минуту. Сию минуту это только осозналось, произошло же гораздо раньше. Когда? Когда Горбачев объявил политику перестройки? А может, революция выдохлась во времена брежневского застоя? Или разбилась вдребезги от стука хрущевского кулака? Или еще при Сталине прихлопнули революционную вольницу во имя построения государства?.. Откручивая дальше, дальше назад киноленту хроники, Рогов нашел-таки: революция кончилась 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года. Да, да, в час своего триумфа революция и прекращается! Ровно в тот момент, когда Ленин на съезде Советов объявлял о переходе власти в руки большевистского правительства, все завершилось: мечтательная романтика оказалась переведена в плоскость неизбежных шагов, предопределенных деяний, и оказалось, что действовать надо исходя не из идеалов свободы, равенства и братства, а из жестокой практической необходимости. Каждый новый день укрепления Советской власти убивал революцию.

Под ноги тем, кто нес ее гроб, падали сломанные цветы: Блок, Горький, Маяков-

ский, Мейерхольд... Потом потянулись этапы в сталинский ГУЛАГ, потом заматалась страна, пытаясь предугадать очередной Никиткин бзик, потом навалилась дрема застоя, но все это не имело отношения к революции. Революции давно уже не было. Остались только фразы, лозунги, изрекаемые игрушечными комиссарами из папье-маше и невсамделишными целлулоидными буденовцами,— словесная шелуха, тоже с годами облетающая, постепенно обнажившая стынущую на ветрах поздней осени историческую правду. Никакой связи между ленинской гвардией двадцатых годов и советскими коммунистами конца века не существовало. Абсолютно ничего общего! Вот почему Рогов напрасно пытался отыскать искры революционности в работниках Дома политпросвещения!

А-а-а! Ну почему же все так сложно и несправедливо в жизни?! Просто мочи нет выносить эту пытку! Трахнуть, что ли, со всей дури башкой о стену?.. Вот интересно, какой звук раздастся тогда под гулками сводами общаги? Трекнется ли голова с хрустом, как орех, или невнятно чвакнет, как подгнивший арбуз?

Но пока, слава богу, лишь эхо удаляющихся шагов тревожило тишину казенных коридоров и лестниц. Надо бы догнать товарищей по несчастью... Ох!.. Рогов всего-то ступил на нижнюю ступеньку, а уж уши заложило, словно от перепада высот в горах. Однако в распухшие слуховые проходы каким-то чудом продолжал влетать приглушенный топот чужих каблуков одновременно с невнятным гулом чужих мыслей, перегудом невразумительных идей волшебного преображения всеобщей жизни и личной судьбы каждого из опозоренных женихов.

Есть ли шанс в этом шуме разобрать нечто доступное человеческому пониманию? Да и кто возьмется искать смысла в нечленораздельном вое по недостижимому идеалу? Разве тот, кто зачем-то собрал в одном месте Иванов-царевичей, оказавшихся на деле Иванами-дураками... Кому и зачем они понадобились здесь накануне грозных исторических событий, предчувствием которых их теперь заразили? С какой стати им выпало на долю биться над вопросами будущего страны? Отчего они заблаговременно не ушли в отпуск, а остались на рабочем посту? Почему именно им отдуваться за всех отдыхающих, безмятежно нежащихся сейчас на пляжах, рыбачащих, попивающих парное молоко?

Закатное солнце, слабо пробивавшееся через запыленные окна на лестничных площадках, словно специально высвечивало неровности стен, скосы стертых ступеней... В тревожных сдержанно-малиновых отсветах общежитие представало неким заброшенным святилищем, заглянув в которое невольно становишься адептом культа искажений. Станным образом ребристые, непараллельные плоскости ведущих вниз пролетов удостоверяли деформацию важнейших сущностей: представлений о справедливости, о причинно-следственных связях, о ходе истории... Отныне описать окружающую действительность можно было банальнейшим трюизмом: что-то пошло не так. Еще не ясно, что, но где-то в высших сферах нечто уже стронулось с места, и теперь лишь время отделяет нас, обитателей дольного мира, от начала перемен, масштабы коих даже представить сейчас трудно.

Так же трудно, как трудно увериться в том, что на твоих глазах пришли в движение жернова старой мельницы. Казавшиеся незыблемыми глыбы пока лишь чуть дрогнули, даже не подвинулись; пока ничто не изменилось ни во вселенной, ни в затаявшейся до срока дощатой постройке. Ты пока даже не убежден, действительно ли уловил начало вращения... Не обман ли зрения? Не показалось ли?

Потом, когда остов истории разойдется, когда мука времени безостановочно посыплется в пеклеванный мешок вечности, сомнений не остается, но в первый-то миг невозможно представить, что громадные каменные круги по-прежнему, как миллионы лет назад, на ходу, что ты видишь то же самое, чему свидетелями были все, посетившие сей мир в его минуты роковые.

Эти минуты возносят великих людей. Но даже тот, кто не отмечен печатью из-

бранности, обращается тогда мыслями к вечному — к Богу, к Родине... Если в обиходе рядовой гражданин не сверяет каждодневно свое бытование с бытием государства, то в час испытаний родная земля оказывается единственным якорем и критерием истины: коль страна развалится, обесценится жизнь человека, уйдет почва из-под ног его.

Ощущение уходящей из-под ног почвы сказочное. Только почему-то муторное до холодного пота... Хорошо добрым молодцам на завалинке или на печке: слушают бабушкины небывальщины, да знай извлекают уроки, один полезнее другого. Худо добрым молодцам в волшебном краю, где за каждым кустом подкарауливает нечисть... Вот жил да был ты в родимой деревеньке, где все вокруг знакомо вплоть до мельчайшей кочки на выпасе, собирался и дальше мирно жить-поживать, да добра наживать... И вдруг сотрясается деревенская улица, кособочатся крыши на домах, разлетаются колья из тына... Задышала, заходила боками родная земля... Глядь — не земля это вовсе, а Чудо-юдо рыба-кит. И вот заныривает Чудо-юдо в глубины моря-окияна со всеми пригравшимися на его спине обывателями, со всем их накопленным скарбом, со всей мелочью обзавода... Тут и сказочке конец. И тебе вместе с ней...

А пока апокалипсис далек, никто о конце не думает. Никто не глядывается в грядущее, никто не оборачивается к былому. Мутное течение повседневности скрывает от наших глаз омуты и подводные камни русла истории. Однако неизбежно настает миг, когда настоящее превращается в прошлое, и ты (самое удивительное!) это понимаешь. Оказывается, время осязаемо. Оно колючее, словно терновый куст. И через него надо продирается, оставляя ошметки души на обрызганных кровью шипах. Но то, что мучительно для тебя, тварного существа, неощутимо для Хроноса. Время безразлично к твари. Ты кричишь от боли, тебе кажется, что тебя терзают преднамеренно, ты вопиешь о несправедливости, о предательстве. Да нет ни умысла, ни предательства, ни даже справедливости! Есть лишь перетекание истории через тебя как через свою частичку, частичку, по какому-то недоразумению наделенную возможностью осознать происходящее.

«Так, так, так», — покрикивало на гулкой лестнице эхо шагов спускающихся мужчин. «Не так, не так, не так», — в ответ стучали спорщики-сердца. Неизбывная горечь пощипывала веки наворачивавшимися слезинками. Казалось, где-то тут рядом (вероятнее всего, за дверью недавно покинутой обшарпанной комнаты) лежит мертвое тело издавна дорогого и душевно близкого родственника. Половину себя каждый изгнанный жених похоронил в склепе за номером четыреста один, и теперь усеченная вдвое душа еще долго будет подвержена фантомным болям.

Несчастные калеки, они навсегда уходили от Марии, от себя самих — прежних; уходили к смутным горизонтам штормового будущего. Неудержимый ветер перемен гнал их прочь от обжитых берегов. На долгом пути к новой тихой гавани им предстоит каждодневно бороться с океаном невзгод, пересечь ревушие широты истории, изведать все буйство времени-цунами. Однако в потаенном уголке сознания пульсировала неосознаваемая надежда на то, что когда-нибудь они вынырнут из пучин житейского хаоса в том же самом месте, которое покидают теперь, широко раскинут обессилевшие в борьбе со стихией руки и, покачиваясь на стихающих волнах среди мусора воспоминаний, жадными ртами втянут в легкие настоявшийся на хлорке воздух чужого обиталища. И вот тогда, через десятки лет предначертанных им скитаний по бурлящим просторам судьбы, во внезапно наступившей тишине расслышат затихающие шаги происходящего сейчас своего ухода.

...Печально шествовали они мимо общежитской вахты, а на лицах их все еще не разгладились глубокие складки — печать обращенной внутрь себя мысли. И вахтерша посмотрела на них — и отвернулась, ничего не сказав, против своего обыкновения, хотя было у нее приготовлено немало слов-буравчиков. Злостные нарушители один за другим покидали вверенное Евдокии помещение; можно было бы поднять тревогу, вызвать милицию... Но не хотелось. Она отпускала их, отпускала им пре-

грешения перед Правилами Внутреннего Распорядка, сей скрижалью нравственности, подписанной самим Комендантом.

Нет, не присутствие Шамсутдинова (как-никак начальника) удерживало бабу Дусю от скандала, а то, что исход нечестивцев виделся ей сквозь какую-то дрожащую, плавающую дымку, неожиданно застывшую глаза. Ретировавшиеся колобродники проплывали мимо старухи расплывчатыми, тенеобразными силуэтами, словно и вправду летучие голландцы.

Оцепеневшая Дусиней лишь провожала взглядом скитальцев, безнаказанно выпуская их из своей акватории. На исчезавших в сгущающейся мгле мачтах мерцали таинственные огоньки, прощально махали Дусе маленькие фонарики за кормой. Она же — миниатюрная точная фигурка в трепещущей на ветру широкой юбке, статуэтка с ответно вскинутой рукой, со струящимися по прихоти бриза волосами — черным абрисом вырезана на фоне закатного пожара... Такое секундное видение посетило Евдокию... Чего только не померещится пожилой женщине, страдающей мигренью, чего не почудится разминувшейся с алым парусом Ассолы, на старости лет подвигающейся хозяйкой дешевой таверны.

...Словно литавра на коду норвежской сюиты, бухнула захлопнувшаяся дверь. Вздогнула вахтерша: что тут? кто? Кафельный вестибюль отозвался тишиной и безлюдьем довоенного госпиталя. Евдокия горестно вздохнула, подперла ладонью щеку. Голова ее чуть заметно тряслась, как будто старуха про себя тихонько, но решительно заявляла невидимому оппоненту: «Нет, тысячу раз нет!» Перед неподвижным взглядом квадраты напольных плиток расплылись, превратились в круги. Неспешные и невеселые думки потянулись привычной чередой: «Чтой-то башка у меня кружиться стала. Все плывет. От ить работка у меня: весь день на нервах, за все переживаешь, на всех брешьешь. А кому это надо? Мне что ли? Да мне ничего не надо!» И баба Дуся пригорюнилась, сердечно переживая мысль о том, что ей и вправду ничего не надо. Стоит она на околице жизни, на дорожке, ведущей к погосту; хорошего теперь уж ждать не приходится, одна надежда: может, получится спрятаться от парализующего страха смерти за бесцеремонностью, от пустоты существования — за напускной важностью.

А задумчивая процессия, молча прошествовавшая мимо Дусяного поста, уже сгрудилась на общежитском крыльце, да тут ненадолго замерла — навстречу тихонечко потянул прохладный приземный ветерок, словно ладони выставил: «Стоп!»

Был тот удивительный предвечерний час, когда весь доступный человеческому восприятию вещный мир запредельно насыщается сущностью, обретает гипертрофированную отчетливость, до непереносимости резко обличая ирреальность действительности. Дневной свет перед окончательным помрачением утверждает себя как желтый, наступающие сумерки являются иссиня-зелеными. Густо-малиновая полоса заката, заранее уступив авансцену медленно темнеющей бледности, занимает ровно одну восьмую необъятного небосвода, и на этом полотне несмешивающихся красок сосуществуют солнце, луна и звезды. Отдаленный лай собаки, шаги проходящих мимо пар, фырканье автомобиля за углом, невнятные голоса, доносящиеся из ближайшего распахнутого окна, — все эти звуки кажутся нарочито многозначительными, то слитыми в симфонию остывающего полиса, то намеренно разделенными генеральной паузой. Незаметно повзрослевший ветер на этот раз всерьез ударил упругой волной по увядающей листве, неся с собой нездешний запах напоенного солнцем травостоя взамен загазованному, запыленному городскому эрзацу озона.

Мужчинам, покинувшим обитель неприступной невесты, приятно было удостовериться, что смутная будущность, с которой они боялись столкнуться, выйдя за порог дома разбитых сердец, на деле совсем не страшна. Еще минуту назад столь пугавшая, неизвестность оказалась наполнена предметами привычного обихода: на понятном языке шептались тополя, шли мимо люди с угадываемыми заботами на ли-

цах, фонари на столбах, пробужденные чьей-то невидимой рукой для исполнения всенощной светоносной должности, весело перемаргивались, будто старые знакомые.

Отверженные женихи невольно расправили плечи, наслаждаясь свежим воздухом, глубоко вбирали его в легкие и нехотя выдыхали. После духоты казенных помещений респираторная свобода наполняла бодростью, силой, легкостью, пьянила чуть ли не до галлюцинаций. И вот растрескавшееся бетонное крыльцо общежития предстало стартовой площадкой для прыжка в загадочное Завтра, а они, все пятеро, казались себе героями некоего фантастического эпоса — самоотверженными путешественниками во времени, отважными покорителями Хроноса, готовыми во имя счастливого будущего человечества торить трассы в Великое Неизведанное, идти на штурм Незнаемого. Одно только смущало: не выглядят ли первопроходцы новой жизни нелепо среди привычных, даже поднадоевших декораций жизни старой? Что: эти ветхие пятиэтажки вокруг заброшенного пустыря, этот заглохший сквер напротив общаги непременно надо тащить с собой в наступающий день? А родные с детства звуки и запахи станут фоном для небывалых прежде событий?..

Еще один порыв почти уже ночного, почти уже осеннего ветра безвозвратно рассеял и мечтательность, и недоумение. Саша судорожно передернул плечами; Иммануил повернул лицо вслед убегающему сквозняку, раздувая ноздри и глубоко дыша; Чернышев вытягивал из пачки сигарету; Шамсутдинов заложил руки в карманы; Рогов провел пальцами по волосам. Нечто удалое, лихое, гусарское поднималось в душе. Напряжение, вызванное разговором с Марией, постепенно спадало, какая-то мальчишеская проказливость разгоралась в крови, подзуживала на озорство. Лица кривились лукаво-смушенными полуулыбками: «Да что такое, в конце концов, случилось? О какой «новой жизни» идет речь? Это даже забавно! Увлеклись, увлеклись излишним психологизмом... Кто такая эта Маша, чтобы нас поучать?! Если уж сказать откровенно... Ладно, не будем. И ведь непонятное что-то она говорила. Точно! Ничего не разберешь, бред какой-то. Возьмись сейчас повторить — не выйдет. Все очень абстрактно, очень далеко от реальной жизни. А реальная жизнь это... Это... Это штука такая... Кстати! У нас же дел много. Мы тут прохлаждаемся, а дела не ждут».

И пятеро мужчин, облученных черныбыльской правдой бытия, разошлись в разные стороны, не проронив ни звука (только Чернышев присвистнул, поднеся близко к лицу циферблат наручных часов), даже не взглянув друг на друга. С показной целеустремленностью они ринулись навстречу черной мгле, с каждым шагом отдаляясь от самых откровенных своих товарищей, теряя единственную свою избранницу, обрекая себя на потемки одиночества. А густеющая ночь столь же решительно надвигалась на них. И вскоре поглотила.

Виктор Алексеевич видел это из окна Машкиной комнаты. По-хозяйски навалившись животом на подоконник и по плечи высунувшись наружу, сельчанин наблюдал, как один за другим выходили на крыльцо его недавние собеседники, которым совсем недавно он считал себя вправе давать глубокомысленные советы о том, что стоит, а чего не стоит делать в жизни. Теперь, глядя со стороны, Володин не узнавал их, будто это были совершенно посторонние люди, никогда не распахивавшие перед ним тревожные чемоданчики своих душ, будто он никогда раньше никого из них не встречал. Удивительно, насколько парни преобразились, пройдя без него несколько десятков метров по коридорам общежития, как резко почужели. И все только потому, что несостоявшийся тесть разглядывал неудавшихся зятьев с высоты четвертого этажа?.. Как же важен угол зрения для восприятия картины мира!

«А этот, татарин-то, лысеть начал, — отметил про себя Виктор Алексеевич. — А этот маленький, коммунист-то, совсем сутулый». Володин видел, как все пятеро с минуту постояли на порогах, крутя по сторонам головами. Видел, как одновременно, словно по команде, они глубоко вздохнули, как веером рассыпались, раскатились по тротуару. Никто даже не оглянулся на распаханное окно. Только самый молодой,

отойдя немного, стал замедлять шаги и вскоре остановился, повернул было голову, но махнул рукой и ушел окончательно. А может, и оглянулся он?.. Точно не скажешь: видно было смутно.

«Неужели же все?.. Все ушли? Бросили ее одну?» — Виктор Алексеевич не мог поверить: недавне же женихов было целых пять штук! Никаких сомнений в том, что судьба дочери устроится благополучно! А теперь вот Машка осталась бесповоротно и навсегда одна?.. Сама виновата, дура! Нечего было рассуждать. Наговорила она, конечно, много, да как еще наговорила! Диву даешься, где только научилась так балакать. Да что толку?! Чем краснобайствовать, лучше бы бабыным умом притихла, показала свою слабость перед мужиками — глядишь, и оказалась бы уважаемой замужней женщиной, матерью семейства. А сейчас вот что? В подоле принесет? В подоле принесет... Странное какое выражение... Всего два слова, а прям как кино из старой жизни: вот молодая крестьянка идет на работу в поле, да в поле и рожает; одна, без вспомоществования, брошенная мужчиной, отвергнутая родней, опозоренная. Чуть ли не зубами перегрызая пуповину, заворачивает она свое незаконное дитя в рабочий фартук и несет младенца в дом родителей. Куда же еще? Родители не прогонят, не откажутся от внука...

Что уж теперь говорить... В подоле, так в подоле! Все равно ведь — новая жизнь зародилась на земле. А жизнь, она не спрашивает, как ей явиться в мир: окруженной заботами хлопотливых повитух, сопровождаемой теплыми взглядами персонала роддома, встречаемой восхищенными криками сродников и сводников, или вот так, в неприкаянности и сиротстве. Жизнь права самим ходом своим, проявления же ее часто бывают неприглядны, а то и отвратительны. В подоле, так в подоле!

Ну а те спесивцы, которые сейчас этакими фертмами отчалили в ночь, еще образумятся. Оценят они Марию, затоскуют без нее. Поймут рано или поздно, что прошли мимо важнейшего в своей жизни. Поймут, что не им, недостойным, следовало оказывать покровительство дочери крестьянской. Это у нее нужно было просить благосклонного внимания, словно высшей милости. Может быть, еще и прибегут же нишки обратно; может, на коленях станут умолять простить их.

Володину настолько живо представились утешительные картины неизбежного возвращения посрамленных кандидатов в Манькины мужья, что он, рискуя соскользнуть с подоконника и брякнуться оземь, подался корпусом вперед и до хруста позвонков вытянул шею, как бы высматривая в темноте будущего зятя. Вдруг самый догадливый кавалер уже поспешает к столь опрометчиво оставленному крыльцу? Вдруг ранее других раскаявшийся в совершенной ошибке миннезингер уже стоит у порога, в отчаянии ломая руки? Вдруг и впрямь какой-нибудь коленопреклоненный идальго уже взирает на заветное оконце в надежде получить прощение?.. Но внизу окончательно смокнулись волны непроглядного мрака, а дежурная не спешила зажечь фонарь над входом в общежитие, поэтому ничего нельзя было разглядеть.

Сколь ни пяль глаза на пальцы ночи, не прозреть сквозь траурный бархат оборотную сторону гобелена бытия, не распознать изнанку материи, усеянную узелками судеб до того причудливо, что оторопь берет. И, пожалуй, недаром скрыт от глаз людских этот испод сущего, являющий издевательски извращенную, непривычно перевернутую картину действительности, которую лишь равновеликий создателю вышивальщик оценит, воздав должное и величию замысла, и тонкости работы.

Впрочем, такие вот отвлеченные умствования в духе агностицизма сейчас меньше всего должны были бы занимать отца опозоренной невесты; а между тем он не находил сил, чтобы оторвать взгляд от медленно возрастающей черноты и вернуться к насущным потребностям текущего момента... Словно зловещей ворожкой кто-то принудил Володина до потери зрения, до помрачения ума созерцать непроглядное нечто. Казалось, моргни он — и предаст мечту о будущей благоустроенной и беззаботной жизни всей семьи, подведет дочь, изменит самому себе.

Упрямый мужик никак не желал смириться с очевидным: что-то очень-очень важное безвозвратно завершилось... Подошел к концу затянувшийся водевильчик «Поездка в город»; спущен занавес в балагане длинных и суматошных дней; отзвучали растянувшиеся чуть ли не на годы задушевно-бестолковые диалоги; стихли за кулисами шаги резонеров-любителей, которые, как представлялось теперь, десятилетиями не сходили со сцены; исполняется кода. Публика еще под обаянием зрелища, лицедеи еще в восхищении собой, никто и думать не думает о том, что последует за финалом. А Виктор Алексеевич уже предчувствовал весь трагизм следующего акта, уже мучился ожиданием невероятной трудности своей роли. Да ведь и догадаться об этом несложно было, поскольку амплуа его всегда одинаково: триагонист, глупый слуга, проstack...

Между тем, именно Володин (он лишь один среди всех участников шоу!) мог бы с уверенностью рассказать о том, что произойдет непосредственно после бурлескного представления. Именно он обладал знанием... да не знанием даже, а нутряным разумением извечного ответа на любой проклятый вопрос. Именно этот далекий от велеречивости и суемудрия, хлебнувший жизни человек способен был открыть издегавшимся и изверившимся современникам заветное слово — отзыв на самый замысловатый из паролей, которые в нынешнем веке столь часто и безрассудно меняют ненадежные командиры наши. Одно только слово, неизменное слово — труд. Что бы ни происходило в стране, чем бы ни бредил мир, как бы ни лихорадило вселенную, русский ответ на все и всегда будет один и тот же: надо трудиться.

Надо много и тяжело работать, не рассчитывая на соразмерное усилиям вознаграждение, не видя конечной цели работы (ибо она сама по себе цель), не вникая подчас в ее смысл. Вот если трудиться, тогда смысл и появляется. Тогда обретаешь дар мышления, дар речи. Тогда доходишь своим умом, что ответить — негромко, но с достоинством — и предкам, и потомкам, и современникам на их неотступные каждодневные вопрошания. Более того: тогда сами вопросы получают логическую завершенность, отливаются в чеканные формулировки.

Усыняют это легче прочих те потомки Адама, для которых возделывание земли — не ветхозаветная заповедь, а ежегодно повторяющийся круг обиходных дел. Всякий пахарь не единожды наглядно убеждался: капли пота, уроненные весной в почву, неизменно всходят по осени урожаем; и чем обильнее орошение, тем гуще всходы.

Вот и Виктор Алексеевич, с малолетства привыкший примечать, как возвышающийся, непреходящий смысл произрастает из раздражающе утомительных забот, сейчас, вперив остекленевшие зрачки в непроницаемую темень, провидел свое будущее с отчетливостью, резкой чуть ли не до болезненности: отныне ему предстоит гораздо больше работать, чтобы обеспечить не только себя со старухой, но и Машку, и ее ребенка... Да, придется без роздыху горбатиться, ишачить, рвать жилы. Вкалывать, не разгибаясь, вламывать до самой смерти, до последнего часа, который, похоже, уже не за горами. Только бы сил хватило! Только бы хватило сил еще на десяток лет напряженного, плодотворного труда...

Глаза вдруг заволкло мутноватой влагой, зашипало, как будто едкая щелочь сочилась из-под ресниц. Володин заморгал-заморгал, отвел, наконец, взгляд от давно опустевшего крыльца и запрокинул лицо, стараясь удержать соленые озера в подрагивающих берегах век.

И оказалось, что в небесах еще можно различить — сквозь тусклые линзы слез, сквозь туманящую взор печаль, сквозь все гуще ткущуюся черноту вуали вечера — неброское малиновое сияние! Если в нижнем суетном мире прочно воцарился непроглядный мрак, то на своде небесном был явственно замечен уверенный в своей всепобеждающей силе, хотя и вынужденный временно отступить на заранее подготовленные позиции, свет. Значит, где-то по-прежнему лучится Солнце, пусть и не видимое пока с Земли; значит, планеты в неизменном порядке обращаются вокруг своей

звезды; значит, все во вселенной идет установленным чередом, без сбоев, без заминок, без неурядиц.

Пораженный этим открытием, словно приступом столбняка, Виктор Алексеевич вновь оцепенел, на этот раз созерцая верхнюю бездну. Спина его напряженно выгнулась, подбородок вознесся до неприличности, не прикрытое даже воротом рубахи, обтянутое тонкой, почти что бумажной, кожей адамово яблоко легкомысленно выставилось далеко вперед. Беззащитный (голыми руками бери!) кадык, заросший редкими щетинками, до которых неделями тщетно пытались дотянуться роторные ножи слабосильной электробритвы «Харьков», временами судорожно двигался вверх-вниз, как цевье помпового ружья. И долго еще, застыв в неловкой позе, крестьянин безотрывно разглядывал надзвездные сферы, изредка поводя носом, будто что-то учуял. А потом сказал, не оглядываясь на Марусю:

— Собирайся, дочка. Поедем домой.

Послесловие

Итак, любезный читатель, мы добрались до финала данной неказистой повести с неказистым, как и указано в предисловии, названием. Поневоле приходится повториться: заголовок оказался неудачным, вычурным, претенциозным, связанным с содержанием книги чисто формально.

С другой стороны, само это содержание настолько мелкотравчато, что какое заглавие ни подбери — все будет неладно. В самом деле, какова фабула предложенного нам литературного опуса? Говоря лаконически, она заключается в следующем: случайно сходятся вместе малознакомые люди, вступают в бестолковый диалог, расходятся, так ничего для себя и не выяснив... Ерунда какая-то!

Автор, изображая всклокоченный внутренний мир обрисованных им типов, пытается намекнуть, якобы данный эпизод оказался чрезвычайно значимым для каждого из них, якобы во время их краткого общения произошло нечто очень важное. Но что же именно? Какой разговор состоялся в комнате героини? Каких аспектов он касался и в каких выражениях велся? Нам предлагается дойти до этого своим умом, догадаться по предложенным смутным ассоциациям, по попыткам персонажей рефлексировать, по реминисценциям и аллюзиям, что, возможно, небезынтересно, однако требует затрат времени и душевных сил, а их у современного человека кот наплакал. Создатель повести вроде бы и пытается облегчить нам процесс постижения сути написанного произведения, раскрывая отдельные поведенческие алгоритмы, рисуя некоторые схемы духовно-интеллектуальной деятельности героев, однако взять читателя за руку и сопроводить его по страницам книги от начала до конца, подвести к четкому выводу даже не пытается. При этом следует отметить, что подобное «отстраненное» отношение к читателю, к художественному образу, ко всему произведению превратилось в тенденцию актуальной литературы. В тревожную тенденцию, реализовав которую нынешние сочинители насобачились за определенными формальными приемами прятать мелкотемье и безыдейность.

Дабы обличить пагубность охватившей нашу словесность в целом вакханалии безответственности, мы решили прямо указать на очевидные недостатки данной конкретной повести, подробнее остановиться на разборе ее основных художественных принципов. Сначала о вопиющих просчетах.

Во-первых, в книге явно нарушены законы построения литературного текста. Вы вот сейчас читаете послесловие, а переверните пару-тройку страниц — и увидите «Эпилог». Это зачем так делается?! Где же видано, чтобы сразу — и «Послесловие», и «Эпилог»? Абсурд!.. Ну, допустим, исходя из каких-то соображений (да а какие тут могут быть соображения? дешевое оригинальничанье, скорее всего, и только), автору понадобился указанный композиционный выверт. Допустим. Но и тогда ординарная

формальная логика должна была бы подсказать, что сначала надо поместить «Эпилог», задача которого рассказать о важнейших событиях, произошедших с героями произведения через какое-то время после описанных перипетий, а затем уж давать «Послесловие», отражающее собственно авторскую позицию. Нет, в анализируемом сочинении все наоборот.

Второе. Раз уж писать завершающее книжку обращение к читателям, то в нем беллетристу, если, конечно, он с должным уважением относится к ознакомившимся с его вещичей людям, стоило бы детально разъяснить ключевые для осмысления сути повествования моменты, поскольку только что прочитанный финал вызывает закономерное недоумение. Беременна ли главная героиня или нет? А если да, то от кого? На эти вопросы, несомненно, более всего интересующие широкую публику, наш прозаик не дает прямого ответа. Удалось ли остальным персонажам реализовать свои планы? Тоже непонятно.

Далее. Среди всех нестыковок, нелепостей, неясностей самое туманное в повести — позиция автора. Что он, собственно говоря, хотел выразить? Как относится к изображенным коллизиям и созданным его творческой фантазией персонажам? В тексте сам он крайне неохотно прибегает к однозначным характеристикам, а ежели где и удастся прочесть нечто внятное, лишённое двусмысленности, то такая оценка все же не является окончательной, нередко сменяется высказыванием с прямо противоположной коннотацией... Очень все это пахнет конформизмом, а пытаться стяжать лавры на писательском поприще, не сумев сформировать основательных и внутренне непротиворечивых воззрений, как нам представляется, есть чистой воды шарлатанство.

Впрочем, не станем настаивать на обвинении нашего сочинителя в сознательном плутовстве. По зрелом размышлении за его манерой, так сказать, «бережного» изображения действительности можно увидеть не отсутствие, но своеобразие мировоззренческих и творческих принципов. Рискнем предположить, что автор на страницах своей книги хотел дать объемные портреты персонажей, показать все многообразие внутреннего мира героев и тем самым поддержать традиции реализма на современном витке развития литературного процесса. Такое предположение кажется нам любопытным, и чуть ниже мы к нему вернемся. А пока еще несколько слов в довершение анализа действующих лиц.

Насколько мы можем судить, каждый образ продумывался с прицелом не только на психологическую достоверность, но и на возможность представить оный в качестве «ходячей идеи», то бишь воплощения некой концепции. В таком случае создателю повести следовало бы выявить капитальную систему взглядов, которую читателю предлагалось бы принять за образец, и раскрыть ее во всей полноте и сложности. Однако ни одна жизненная философия, воплощенная в ком-либо из персонажей, писателем не поддержана безоговорочно, не заявлена в качестве предпочтительной. Критикуя иные поведенческие схемы и идейные построения, литератор сам никому ничего советовать не решает. Автор, похоже, не в состоянии определиться относительно правоты либо неправоты своих героев, мечется между идеологическими противоречиями, настойчиво, но безуспешно пытается подвергнуть конвергенции антагонистичные позиции, тщетно пробует свести ту какофонию, что устроили солисты, им же собственнорично выведенные на сцену, в подобие симфонического звучания.

Ну, и как оценивать подобное произведение? Как составить мнение о нем? Как, наконец, поддерживая репутацию интеллигентного, мыслящего и начитанного человека, пересказать коллегам и родственникам содержание очередной проштудированной книжонки?!

У читателя остается еще надежда, дескать, эпилог поможет пролить свет на маловразумительные места. Сразу хочется предостеречь: надежда призрачная. Из эпилога ничего вы не поймете, напротив, только еще больше запутаетесь. Как уже отмечалось, эпилог нужен, чтобы показать логическое завершение развития художествен-

ных образов. В данном случае мы такого не имеем. Более того, ни один из персонажей повести в эпилоге не только не появляется, но даже не упоминается... Короче говоря, ни в чем нельзя положиться на этого автора!

Отчасти (но только отчасти!) вскрытые нами недостатки произведения могут быть объяснены самой его тематикой, тем, что повествователь отваживается бытописать сложную, переломную эпоху, предопределившую явные отклонения в поведении героев книги, а также, видимо, сказавшуюся на, мягко говоря, специфическом душевном состоянии сочинителя... Поневоле приходится согласиться с психологами, утверждающими, будто в критические моменты истории коллективное бессознательное подталкивает наиболее возбудимых субъектов к эксцентричному образу мыслей и действий...

Если же говорить конкретно о позднесоветском периоде, то тут мы и вовсе имеем дело с феноменом не только не исследованным, но, похоже, даже не описанным до сих пор в литературе. Указанный феномен заключался в небывалом размахе охватившей страну (наряду с эпидемией недавно подаренного СПИДа) эпидемии апатии. Да, собственно, даже не апатии, а какой-то необъяснимой энтропии, распространявшейся на все, что составляло привычный образ жизни: производственные связи, приятельские и земляческие отношения, эстетические вкусы, национальные пристрастия, государственные символы... Объяснить данное явление мы, право, затрудняемся... Отчего исполнение крепко-накрепко зазубренного гимна вдруг стало вызывать плохо скрываемое отвращение? Почему былые достижения начали восприниматься достойными исключительно осмеяния и поругания? С какой стати наличествовавшие недостатки представились нигде и никогда доселе не бывшими, настолько чудовищными, что одно лишь упоминание о них отравляло существование великому множеству народа?

Это тем более удивительно, что направленность советской идеологии была прямо противоположной: наступательно заостренной против всяческого упадничества, нацеленной на формирование единой социальной общности, на воспитание населения в духе сплоченности, верности идеалам, гордости за свой строй. По нашему скромному мнению, вышеописанное коллективное переживание фрустрации обусловлено причинами исключительно мистического свойства. Мы неоднократно пытались разрешить для себя указанную проблему, используя инструменты логики, причинно-следственных связей, и всякий раз в бессилии опускали руки, ибо всякий раз очевидным для нас становилось, что большинство реалий тех лет невозможно истолковать с точки зрения рациональных схем.

Впрочем, в отношении общественно-политических дисциплин наука отвергает любые намеки на метафизику... Посему остается одно: терпеливо ждать, когда же вьедливые исследователи вынесут онтологически обоснованное и многократно ревидованное суждение. Суждение окончательное и исчерпывающее. Мы же со своей стороны можем лишь повторно свидетельствовать, что в интересующий нас период необъяснимое, доходящее до животной тупости безразличие к собственной судьбе всецело овладело массами, отчего неотвратимость роковой развязки проступала все явственней.

Соблюдая стилистику художественного текста, для иллюстрации вышеприведенного тезиса нам следовало бы вернуть метафору, или даже ряд метафор... Минуточку! Сейчас, сейчас... Вот, готово! Словно бы безалаберный и злобный киномеханик прервал фильм на самом интересном месте: на кого-то разобидевшись, решив сорвать зло на зрителях, во время сеанса грубо крутанул бобину с лентой, и проекционный аппарат, прежде исправно воспроизводивший звуки да изображения, «зажевывая» пленку, понемногу останавливается, бормоча отвратительную тяготящую невнятицу, подобную бреду слюнявого идиота. Словно бы по завершении важнейшего опыта сердитый от собственной серьезности экспериментатор отключил питание электрической цепи, и вживленный в нее магнит, колоритно щетинившийся металли-

ческими опилками, безвозвратно теряет былую притягательность, по-осеннему вяло роняет железное крошево, каковое могло бы дисциплинировано красоваться в математически-четких шеренгах силовых линий, а вместо того грудится анархистской кучей. словно бы на наших глазах рушится некая сложная инженерная конструкция, из которой в одночасье извлекли скрепляющий стержень, после чего она начала распадаться на блоки, агрегаты, детали... А раскатившиеся в беспорядке человеческие обломки той установки (на вид еще вполне функционально пригодные) оказались изржавевшими в труху: дотронься только — взорвутся ядовито-рыжей пылью.

Отчего это люди предстали миру такими пустотелыми, будто выгорели изнутри?.. Обратились в шлак от жара kloкочущего разочарования? Обуглились от обиды, окончательно поняв, что соблазнившие их некогда картины великой в своем совершенстве будущности были всего-навсего теоретическими выкладками, умозрительным проектом, одной из тех интеллектуальных блесен, на которые ловятся неопытные, но азартные дельцы? Испепелили сердца неугасающим раздраженным самокопанием, как некий сверхсрочник-кладовщик, постоянно злобившийся на себя прежнего — восторженного призывника, грезившего о воинской славе? Сомлели от безмерной усталости часового, забытого на никому не нужном посту? Оглохли, ослепли, онемели, контуженные динамитным веком? Надорвались, впали в бесчувствие провалившегося боками коняги, столетие не выпрягавшегося из хомута? Одеревенели от нескончаемых лишений, утрат, похорон? Нарочно испростили нутро, дабы больше не начинало начальство (что до того повторялось с печальным постоянством) рыться в тайниках душ подчиненных да, так ни в чем и не разобравшись, не плевало бы на нетленную суть человеческую? Привыкли без рассуждений повиноваться стороннему авторитету, а потому вовсе утратили вкус к жизни, вся прелесть которой заключена в возможности думать самим, самим находить решения и самим отвечать за них, свободно волить и чувствовать?.. Ответов не знаем. Знаем только, что позднесоветский человек стал неуправляем и невменяем.

Хотя, справедливости ради, следует заметить: даже в стабильной общественно-политической ситуации отдельные представители социума доводят себя до такого состояния, что подчас не могут отдать отчет в том, чего они хотят, зачем куда-то идут, почему оказываются в тех или иных местах, порой самых неожиданных, как это случилось с героями прочитанной нами повести. Спорить нечего — нарезал автор правду-матку жирными ломтями.

Еще одно обстоятельство тоже верно подмечено писателем... Некоторые представительницы лучшей половины человечества, действительно, обнаруживают, что беременны, на достаточно позднем сроке, когда уже невозможно что-либо изменить. Поневоле приходится переводить общение с подобными особами на новый уровень, готовиться к событиям, ранее не запланированным. Случается такое в жизни, случается... И тут писателем поднята серьезная проблема, как семейной жизни, так и взаимоотношений мужчины и женщины до вступления в законный брак... Но, пожалуй, сейчас мы себя остановим, поскольку затронутый вопрос представляется нам наименее важным, и касаться его публично мы считаем бестактностью. Кроме того, развивая данную тему, мы можем быть заподозрены в нездоровой сексуальности и аморализме. Не будем же давать повода для инсинуаций!

Лучше похвалим автора повести за ту добросовестность, с которой он старался разобраться в напластованиях мыслей, в наслоениях эмоций, возникающих во внутреннем мире человека при отображении реалий окружающей действительности. Сдастся нам, здорово пробираться таким увлеченным спелеологом по потаенным пещерам созданных тобой характеров, вести за собой читателя по причудливым дебрям стремящихся к неизбежному слиянию сталактитов экзогенных впечатлений и сталагмитов эмпиризма. Сдастся нам, это гораздо достойнее, правильнее это, чем раскатывать километры текстов неряшливой сюжетно-бытовой скорописи, аки большин-

ство нынешних беллетристов, начавших и на диалектику души, и на слезу ребенка, и на миссионерство русской литературы: мол, я не Лермонтов, не Пушкин, пусть кто другой занимается пресловутым психологизмом, кто подурней да победней.

Возможно, автор анализируемой книги провел свое художественное исследование без особого блеска, без необходимой философской фундаментальности... Возможно. Но он ставил перед собой дерзкую творческую задачу, и уже одно это вызывает уважение. Будем же снисходительны к тяжелому, неблагоприятному труду честно-литератора!

Итак, не за страх, а за совесть произведя разбор почитанного произведения, без экивоков указав положительные и отрицательные его стороны, мы подошли к самому интересному. Теперь как раз уместно поговорить о художественном методе автора в целом. Следует ли из всего вышесказанного, что реальность воссоздана писателем всесторонне и глубоко? Иными словами, придерживается ли автор концепции реализма? На наш взгляд, нет. Если это и реализм, то какой-то... как бы сказать... психоделический, что ли, реализм.

Однако здесь мы вторгаемся в сферу сложных эстетических категорий, запутанных литературоведческих дискуссий, которые к читателю прямого отношения не имеют. Читатель сделал свое дело — ознакомился с повестью. Если у него осталось время и желание, он, возможно, дочитает и эпилог. Остальное же — удел критиков и других чудаков, которым не лень спорить на отвлеченные темы. Читателя это уже не касается.

Эпилог

Март неловко называть весенним месяцем. Какая уж там весна! Зима это, конечно. Просто уцелевшие после неистового февраля люди — ветреники, торопыги — не могут заставить себя прожить лишний денек при зимней власти, вот и придумали отговорку: мол, март, весна, Масленица и все такое... Нет. Зима, зима и зима.

Вместе с тем, (нельзя не признать) зимний дворец постепенно оседает, кособочится, утрачивает дух стылой надменности. Интерьеры уже не те. Не стало монументально-мраморных сугробов, содран сияющий ледяной паркет. Ухари-дворники с размаху швыряют на расчищенные участки асфальта смерзшиеся глыбы — прямо под ноги мимоидущим. Плиты изъязвленного капелью, покрывшегося траурными кружевами снега с замогильным стуком падают на тротуар, разбиваются, словно потускневшие древние зеркала, их осколки нехотя расплзаются, издавая угрожающее шипение. Да кого теперь напугаешь?! Наоборот, каждый прохожий норовит злорадно пнуть крутящийся и шкворчащий, будто на сковороде, шматок снежного сала, выросшего чуть не за полгода. Грязно-серые куски спрессованного прошлого с циничным удовольствием крошат подошвами, растаптывают в крупу, и вскоре, пригретые солнцем, они теряют дерзость заостренных ломаных очертаний, начинают точить слезки, растекаются лужицами.

На проезжей части другая напасть: замешанная на снегу грязь затопила улицу во всю ширь. Пронесется по дороге автомобиль — оставит за собой отпечаток шин, наполненный мутной водой; если идущая следом машина угодит в тот оттиск, то из-под колес веером разлетятся сгустки липкой мокроты, окатят толпящихся на остановке пассажиров, стоящих у светофора пешеходов. Возмущенные такой наглостью люди смешно и страшно тарачат глаза, пытаются, пятась или неуклюже дергаясь, спастись от слякотного душа. Тщетно! Раз довелось тебе жить весной, выбор невелик: либо подставляйся под грязные брызги, либо вязни по щиколотку в холоднущей трясине. Впрочем, двигаться колонной машинам не с руки. Каждое транспортное средство стремится оставить собственный след в истории, проложить собственную колею. И нескончаемо пластичное перемещение грядок тающего месива среди полосок талой воды.

Словом, приятным март не назовешь. Прежние хозяева погоды — морозы — изгнаны тепленькими сквозняками, известными продувными бестиями. Однако самостоятельно установить новый порядок нувориши-временщики не в силах, и приходится им помогать. Дворники, прохожие и автомобилисты — все вносят посильную лепту. Но более других стараются дети. Вот кто готов выстроить целую систему водоотводных каналов, вот кто безостановочно расширяет и углубляет русла ручьев, вот кто азартно обламывает каблуками кромку почерневших ледяных наростов, нависших над решетками сточных колодцев.

Стало быть, есть в ранней весне нечто обнадеживающее! Вдруг грянет горячее властное солнце, и каждая лужица, каждая расхлябанная колея, каждый налитый водой следок захотят его отразить. Тогда сияние (подлинно *неземное* сияние!) исходит от грязной, истоптанной земли. Такое ослепительное свечение вокруг, что невольно прикрываешь глаза, блаженно щуришься, как разомлевший котяра на припеке, глуповато улыбаешься, и так же поступают все вокруг. И кажется, будто люди искренне радуются друг другу, будто они абсолютно счастливы, будто испытывают ничем не омраченный, детский восторг перед прелестью бытия.

Или, столь же внезапно, как вывилось яркое солнышко среди низких облаков, пахнет ветерок, принесет с собой тепло, да такое настоящее, такое летнее, что вялые, зачашшие за зиму легкие, что измученные, почти разорванные приступами кашля бронхи распускаются, подобно первоцветам. Чувствуя внутри себя это волшебное раскрытие бутонов, упиваешься прогретым воздухом, но не глотаешь сразу, а сначала перекатываешь капельку во рту, пробуешь небом, стараешься разобрать весь букет: оказывается, пахнет взрезанным арбузом; и мимозой пахнет, и бензином, и (странно!) морскими водорослями, и (удивительно!) сеном... Потом уже, услышав тончайшие оттенки ароматов, начинаешь вдыхать жадно, стаканами, литрами, быстро пьянеешь, и мерещатся тебе грядущие хорошие новости, выигрыш в лотерею и любовь прекрасной незнакомки, встреча с которой случится за ближайшим поворотом. Наверное, поэтому весной часто тянет без видимой причины изменить привычный маршрут делового горожанина, профланировать по какой-нибудь неизвестной улице, пройтись чужим двором.

...Но непродолжительны славные минуты мартовского безмятежного довольства. Скрылось солнце за тучкой, померкло сияние, потянуло холодом — стало скучно. А если еще промочишь ноги в луже, или обрызгает тебя проехавший грузовик, или, бесцельно глаза на витрину магазина, ненароком разглядишь собственное расплывчатое отражение (искаженное, как в комнате смеха, осунувшееся, пожелтевшее от авитаминоза лицо), то только горестно покачаешь головою: «Да! Март...»

На самом доньшке зимы он, этот месяц. На самом-самом донце испитой тобой зимы... Ты помнишь ли? Поздней осенью, в тот вечер, когда окончательно лег снег, не зажигая свет на кухне, нальешь до краев граненый стакан «Русской», осторожно поднимешь его, резко выдохнешь и начинаешь комками вливать в себя горькую, с каждым глотком отчетливее ощущая, как учащается пульсация сердечных клапанов, как подводит живот, как подступают горловые спазмы; одновременно (внутренне собравшись, полностью сосредоточившись на том, чтобы непременно допить, красиво и четко выполнить старинный мужской обряд) представляешь себе, как все это смотрится со стороны: вот в сумерках стоит у обклеенного ярко-белыми полосками бумаги оконного переплета человек с запрокинутой головой и воздетой рукой, а за стеклом — заснеженная земля; и во вставшей перед глазами картине становится очевидна композиционная законченность, которую некоторые называют грустным словом *неизбежность*...

Точно так же, в три больших глотка, проживают зиму со всеми ее метелями, заморозками, поземками, настами, пушистыми снежинками и низким солнцем, похожим на желток ядреного яйца деревенской курицы. В марте кажется: стакан вроде

опорожнен досуха, но по опыту известно, что стенки его обволакивает не различимая глазом влага, и можно сделать еще четверть глоточка, поэтому ты не двигаешься, по-прежнему держа на весу посудину, исподволь обретая новую точку зрения, глядя на мир через зеленоватую толщу граней, через полупрозрачное днище с проступившими на нем лунными знаками, изобретенными на энском стекольном заводе таинственными символами, подобными надписи надгробной на непонятном языке... А на ободке чарки тем временем неспешно набухает микроскопическая капля, вытягивается глицериновым головастиком и срывается тебе прямо в зев. И только сглотнув, наконец, капельку-последышек, вдруг ощущаешь резкий запах маслянистой сивухи, столь сильно шибайущий в нос, как будто это не ты опрокинул стаканчик, а тебя втянуло в него; только впитав остатную бисеринку водки, понимаешь, что таки да, дело сделано, и ты оказался по другую сторону трех судорожных месяцев. Ты даже немного удивляешься произошедшему: как это я сумел? как это я засандалил цельный стаканнице? Как это я пережил зиму? Ты, оглушенный крепостью сорокоградусных морозов, выбираешься из-под завалов засыпавшего тебя бесцветного ледяного хрусталя и не можешь поверить, что все позади... Однако понемногу выравниваешь задержанное памятным осенним вечером дыхание и начинаешь новую жизнь.

Каждый раз в марте — новая жизнь. А в тот год это чувствовалось особенно остро. С отчасти даже болезненной резкостью осознавалось, что затеплилась первая весна новейшей истории новейшего государства. Мы только привыкали произносить «Российская Федерация»... Как бы стеснялись выговаривать диковинное название, ломали язык, коверкали не легшее на слух словосочетание. Непонятно было, каким образом и откуда возникла неведомая страна, неясно, что следует далее. Неизвестно было, полюбим ли мы свою новую родину. Очевидно было одно: на российской земле тает советский снег.

К слову сказать, погода тогда основательно подпортила нам торжество обретения страны. Как-то все было обыденно и грязновато. Холодновато как-то. Неуютно. Нет бы, например, солнцу включиться на полную катушку и установить температурный рекорд столетия. Нет бы деревьям распуститься досрочно и встретить первую весну новой России благоуханием нежных цветов. Отнюдь! Все осталось таким же, каким запомнилось при старом режиме. То же непрогретое выцветшее небо, те же обветшалые дома, те же немые машины, тот же затопленный слякотью перекресток. Даже люди, похоже, ничуть не изменились с прошлой весны.

Трудно было ожидать от них (да еще на фоне столь неприглядного пейзажа) всплеска пассионарного патриотизма, адреналинного выброса гражданских чувств, триумфального порыва к державной идентичности. Но, черт меня побери, что-то подобное проблескивало, когда лучи глянувшего в просвет облаков солнца россыпями бриллиантов переливались в лужах. Острая свежесть весеннего ветерка опасной бритвой скользила по щекам, по горлу, дразнила и пугала холодком беспредельной свободы. От земли тянуло стылой сыростью избытого прошлого, а ласковое тепло будущего лета уверенно, но без панибратства обнимало за плечи зимние пальто, оглаживало ватные спины. Перекресток нервно курился выхлопами, злобно урчал, плевался — никак не хотел пропустить заждавшихся пешеходов.

Однако все же сморгнул, а затем и погас воспаленный глазок светофора, ринулись через дорогу долготерпцы. Первые шаги по переходу давались им нелегко, поскольку у бордюрного камня студеная жижа стояла вскрай, и двигаться здесь надлежало сноровисто, расчетливо. Женщины кокетливыми складками подбирали полы одежды, тянули носочки, будто в гимнастическом зале, с легким подскоком переступали туда, где, мнилось им, не так глубоко, где брызг поменьше. Просто балет на льду! Или, точнее, водная феерия: пикантно, грациозно, аккуратно. Женщины это умеют. Мужики... те форсировали лужу на разный манер: кто залихватским прыжком перемахивал талый затон и, циркулем ставя ноги, поспешал далее; кто, предусмотрительно подпернув

штанины, вразвалочку, по-гусиному семенил на пяточках по мозглому болотцу, смешно потряхивая благоприобретенным животиком и дряблыми ягодицами.

Среди забавно кривлявшихся прохожих, невольных участников уличного парада-алле, выделялся один паренек: шлепал, не разбирая дороги, прямо по воде. Быстрые ручьи бурлили вокруг его лодыжек, словно вскрывшиеся реки вокруг мостовых опор, слякотные лиманы коварно захлестывали его обувь — юноше все было нипочем. Казалось, ему даже доставляло удовольствие при каждом шаге погружать голенастые ноги в хляби вешние, хотя наверняка ботинки его давно промокли и злорадно чавкает в них лмящая стопы ледяная влага. Однако задорно и с вызовом блестели глаза бесшабашного молодого человека, а на губах подрагивала полуулыбка, готовая расплыться от уха до уха в ответ на мимолетную вспышку пробившегося сквозь хмарь солнышка или чей-нибудь беглый дружелюбный взгляд.

По обличью молодца легко было догадаться, что он, и без того явно не отличающийся собранностью субъект, выскакивал из дома впопыхах: шарф, подвязанный крупным узлом поверх воротника куцей болоньевой курточки, съехал на сторону; брючины черных джинсов пропитались сыростью до самых колен, стояли колом; головного убора в помине нет. Длинные прямые волосы постоянно спадали на лоб, лезли в глаза, и парень мосластой пятерней поминутно откидывал назад взъерошенные космы. Мало того, его нечесанные патлы дергал, сплетал самым причудливым образом мартовский ветрюган-малолетка, которого авторитетные и при делах брата-ны засылают вперед — позырить, че к чему на районе, постоять на стреме или даже подначить кого-нибудь из чужаков, вызвать на драку.

Юноша шел по улице с ощущением полного, гармоничного, незаслуженного счастья. Таким невероятным счастьем невозможно ни с кем поделиться, и поэтому жалко становится окружающих, жестоко обиженных фортуной, не имеющих ни малейшего представления о том, сколь прекрасен подлунный мир! Может быть, они, обездоленные ближние наши, простят счастливому миг блаженной эйфории, если увидят размокшую обувь да растрепанную прическу? Может быть, чуточку меньше станут завидовать?

Как бы не так! У нас любой увязший в распутице пешеход (карабкается ли он вместе с тобой по осклизлому склону, ползет ли на полусогнутых встречу) оснащен не хуже того энтомолога — всегда наготове сачок здравомыслия, наполненная парами житейского опыта склянка с притертой пробкой, а уж взглядов-булавок припасен целый арсенал: тут и изучающий рентгеноподобный зырк, и осуждающий зрак, и укоризненный взор, и недоуменное подрагивание ресниц, и настороженный прищур... Какой бы умопомрачительно красивой, невиданно редкостной бабочкой не воспарила твоя душа в минутном упоении, обязательно тебя поймают, усыпят и пришьют к картонному планшету в соответствии с придуманной кем-то классификацией.

Но что за дело счастливцу до нацеленных со всех сторон косых взглядов! Пусть прохожие разят сотнями язвительных жал, пусть стынет грудь под порывами ветра, пусть схватываются ледяной коркой ступни, пусть завтра он потеряет голос, сляжет с горячечным бредом — ничто не может лишить его роскошного ощущения счастья.

Легко обогнав толпу на переходе, юноша в три шага перемахнул проезжую часть, чуть не бегом направился вдоль решетчатого металлического забора городской больницы к воротам. Он спешил в седьмой корпус, в родильное отделение. Он час назад узнал о рождении сына.

Поскольку этот окрыленный молодой человек впервые появляется в нашей повести, мы ничего определенного не можем о нем сказать. Что это за персонаж? Откуда он взялся? Какое имеет отношение к тому, что происходило ранее?

Данные вопросы останутся без ответа. А раз нечего более сообщить, то и писать дальше не стоит.

